

Героя нашей сегодняшней беседы, Кирилла Владимировича Ковальджи (1930–2017), называют «органичным выразителем психологической нормы, добра и света в поэзии». Он был такой и в жизни — воплощение мудрости и здравости, пример бесконечного трудолюбия. Поэт, прозаик, литературный критик и переводчик, главный редактор журнала «Кольцо А», а до этого — журнала «Пролог», руководитель многих семинаров, автор статей и предисловий к классикам и современникам, — перечень сделанного им на литературном поприще неисчислим, но особое место в этой деятельности занимает помощь молодым, которую Кирилл Владимирович не прекращал до конца своих дней. В беседе с **Любовой Малышевой** один из учеников Ковальджи, **Борис Кутенков**, вспоминает о нём как о культуртрегере и педагоге, о памятном семинаре 2009 года.

Л. М.: Про многих людей можно сказать: это — балерина, это — художник. А Кирилла Владимировича Ковальджи нельзя односложно определить, и это удивляет. Но при всей многогранности он был не высокомерным человеком...

Б. К.: Вы знаете, я бы, наверное, определил его личность одним словом. «Литератор». Оно общее и понятное, включает в себя много занятий, и в нём чувствуется высокий смысл. Ходасевич называл себя этим словом. Ещё я бы сказал «культуртрегер». Я никогда не произносил это слово в присутствии Кирилла Владимировича и не знаю, согласился бы он с ним, но подозреваю — да. Это слово не новомодное — оно бытовало в современном значении в начале XX века. Мне в нём чувствуется высокий смысл. Культуртрегер — человек, занимающийся не только своим творчеством: устраивающий образовательные акции, помогающий другим.

Л. М.: Люди такого сорта высокомерны...

Б. К.: Кирилл Владимирович был непохож на окружающих нас людей. В нём абсолютно не было высокомерия, с ним я столкнулся, когда в студенческие годы стал соприкасаться с «московским литературным сообществом», — и всегда ощущалось чувство собственного достоинства. Оно было каким-то европейским, это чувство. Я думаю, оно связано отчасти с его происхождением, соединением в нём нескольких культур.

Было видно — имеешь дело с европейцем — при его домашности и простоте: с одной стороны, ты чувствуешь лёгкость общения, с другой — как-то незаметно повышаешь для себя планку, становишься немножечко навтыжку. Фактом общения, полного чувства собственного достоинства, человек определял внешние границы. И внутренние — для собеседника. И хотелось соответствовать этим границам. Он никогда не подчёркивал разницу в возрасте — это отличало его от многих других, с кем я общался. Важность жизненного опыта мог подчеркнуть и охотно делился им, но снобизм был исключён. Отсутствие снобизма, простота не располагали к вульгарности. Если Кирилл Владимирович чувствовал ущемление своих прав или вульгарность — он отвечал достойно. Чувствовалось — он прост до границы, пока не ущемляют его простоту...

Л. М.: Его поведение сообщало важные этические категории. И он выбирал для общения людей, соответствующих его внутренней планке.

Б. К.: Это сложный вопрос — в семинарах у него учились разные люди, невозможно сказать: он кого-то выбирал. Происходило по-другому: разные люди шли к нему, а потом отсеивались те, кто не был ему близок. С кем-то не складывалось общение. И те, кто был ему мировоззренчески близок, оставались. Я не могу сказать, что был безусловно близок. В последние годы его жизни мы, скорее, друг друга не понимали. Не было ссоры, конфликта.

Было стилистическое расхождение. Ковальджи остался здоровым консерватором: он любил простые стихи, а меня тянуло в сторону сложности. Мне ближе становилась постмандельштамовская поэтика. Из учеников Ковальджи стоит вспомнить Ивана Жданова, поэтика его с годами стала для меня приобретать основополагающее значение. Что Ковальджи думал об Иване Жданове? Мы об этом не говорили. Но мне кажется: поэтика Жданова была близка ему вчуже. Я полюбил в последнее время это словечко — «вчуже»...

Некоторые учителя гордятся достижениями учеников, но не принимают их поэтику. И, когда ученики становятся известными, невозможно заявлять впрямую о неприятии этой поэтики: ты гордишься фактом репутации — такой человек у тебя учился, несмотря на то, что он пошёл другим путём. Мудрость педагога состоит в том, чтобы принять ученика таким, каким он стал, а не таким, каким он хотел (бы) его видеть. У Кирилла Владимировича была эта мудрость. А что касается расхождений — то в 2012 году, когда я обсуждался у него на семинаре в Липках, он говорил о дурном влиянии стихов Алексея Цветкова. Кирилл Владимирович — в ту пору, когда я его знал — был человек очень пожилой, возникали какие-то повторяющиеся сюжеты. Он часто говорил о «дурном» позднем Юрии Кузнецове. И о влиянии Цветкова, который — годов с 1980-х — писал и пишет стихи такого «механического» свойства. Это замечание про «механистичность» справедливо



по отношению к Алексею Петровичу Цветкову. Но Ковальджи не учитывал: «механистическое» влияние поэта может быть плодотворным, когда оно накладывается на твою витальность. На то живое, что есть в тебе. И поздний Цветков — он раскрепощает внутренние механизмы, его «машинка», конвейер — открывают лёгкость многописания. Это избавляет от внутреннего цензора, что для меня стало важным. Может получиться классный сплав, здоровский синтез, — на стыке чужой «раскрепощённой искусственности» и твоей свободы. Но для Ковальджи влияние Цветкова было однозначно дурным. Хотя в те годы это был поэт, которого я насыщенно читал. Мы на этой почве спорили. Или, например, стихи Евтушенко, из-за них мы тоже много спорили...

Л. М.: Не думаю, что Цветков «механический», читаю все его тексты. А кто из вас не любил Евтушенко?

Б. К.: Я. Кирилл Владимирович любил. Поэтика шестидесятничества близка Ковальджи — хотя он от неё уходил в верлибрах. Но всё равно оставался там: шестидесятнические стихи,

то время — это его стихи и его время. Одним из его основных сюжетов был сюжет утраченного литературоцентризма. Можно эти мысли развивать.

Л. М.: Вы затронули тему «европейскости». Много кто соединяет несколько культур, несколько идентичностей — но почему так интересно получилось у него? Чуть ли не до самого ухода он собирал вокруг себя людей, радовался чужим успехам как своим.

Б. К.: Можно вычленить несколько составляющих его личности. Это, во-первых, инокультурие; во-вторых, чувство собственного достоинства, напрямую не вытекающее из первого, но связанное с ним; в-третьих, счастливый дар — радоваться чужим успехам, не быть сосредоточенным на своём творчестве, что и делало его культуртрегером. Он не отодвигал себя в сторону, ему удалось найти интересный баланс между вниманием к другим и вниманием к себе. Нельзя назвать его малоизвестным; нельзя сказать, что он не печатался — его стихи выходили в толстых журналах: «Новом мире», «Арионе», регулярно издавались книги... Но нельзя сказать, что его безусловно ценили как поэта. Он не был поэтом первого ряда — хотя в его случае хочется уклониться от таких оценок: жизнь и литпроцесс любят искусственно расставлять на «первый — второй», что далеко не всегда соответствует внутренним иерархиям (если самостоятельно мыслишь). И в то же время он занимал достойное, законное место в литературной иерархии. Но в глазах

большинства это был педагог, а потом поэт. Ничего не поделаешь: такая участь постигает всех, кто не зациклен на себе. Не самая худшая участь, если тебя ценят в другой ипостаси. Это не вело в его случае к ложной скромности, к отказам от публикаций. Нет, он приглашал на свои вечера, я видел, как ему было приятно участие в них, и всё происходило довольно легко. Была в нём пушкинская лёгкость. Лёгкость — слово, которое мы не произнесли.

Л. М.: Наталья Горбаневская говорила: «У меня очень маленькое место, но оно моё».

Б. К.: Я в последнее время слышал дважды похожую фразу — от писательницы Екатерины Вильмонт, сказавшей: «У меня своё место — мне в нём, бывает, отказывают, но оно у меня есть». Примерно то же самое говорил противоположный по взглядам — и Вильмонт, и Ковальджи — поэт и культуртрегер, оппонент Ковальджи, Дмитрий Кузьмин. Он говорил о небольшом масштабе своего творчества и о том, что ему больше важно культуртрегерство. Но тут есть разница. Кузьмину важна литературная власть, он этого не скрывает. Ковальджи бы никогда так не сказал. Но внимание к другим, к литературе, — оно превалирует/превалировало у того и у другого при разнице ценностных установок и при личностной противоположности, оказывающейся не такой уж противоположной.

Л. М.: Может быть, одним нравятся изображать процесс, а другим —

сам процесс? Один доказывает своё влияние на литпроцесс, а другой его, это влияние, имеет?

Б. К.: Можно и доказывать, и иметь: одно другому не противоречит. Любить и литературу, и свой символический капитал в ней. Кирилл Владимирович, безусловно, гордился своими успехами: помню — он мог похвастаться публикацией, это было по-детски, легко, вызывало улыбку. Помню один из его вечеров в Доме-музее Цветаевой. Его чествовали, он сидел в кресле, на сцене. Выходили люди, я слышал много фальши в словах этих людей. Многие хотели прибиться, быть ближе к его кругу. Выпендриться. Были люди, говорившие искренне. Он сидел довольный, в кресле, немного вразвалочку, и словно грелся в лучах славы. Я чувствовал: он дополучал то, чего, наверное, недополучил за свою жизнь; заметно в его глазах удовольствие. Без этого тщеславия, конечно, поэт невозможен. Главное — чтобы оно было в разумных пределах. Тогда это и не тщеславие, а ощущение своего места и того, что ты справедливо получаешь то, что получаешь. У Кузьмина чувствуется громадный комплекс, который им движет, он ведёт к необходимости литературной власти, — это проявляется во всём. У Ковальджи не чувствовалось закомплексованности. Либо он её тщательно скрывал. Хотя я чувствовал и обиду с его стороны, и творческую ревность. Помню один момент в тех же Липках: подряд поставили вечера его и Евгения Борисовича Рейна. Вечер Рейна поставили перед Коваль-

джи. И Ковальджи с обидой и болью говорил — я уже не помню, в каких формулировках, но суть заключалась в том, что их вечера поставили рядом. Ковальджи было обидно: Рейн его задвинет, все придут на Рейна. Было понятно — придут на Рейна, потому что он завоевал глобальную репутацию. Так и случилось. Мне было жаль Кирилла Владимировича, хотелось его успокоить. И ещё 2009 год, когда мы с Вами познакомились, и я впервые пришёл к нему на семинары и его увидел. Тогда он впервые дал мне право поехать на форум молодых писателей в Липки: у него была квота, согласно которой он имел возможность рекомендовать какое-то количество молодых авторов. Они могли проходить без отбора. Поскольку я к тому моменту уже достаточно побывал на семинарах Ковальджи в ЦДЛ, я записался на семинар Ермаковой и Скворцова. Это были мои первые Липки. Я чувствовал: Ковальджи обидно, он мягко высказал мне это: вот, мол, я дал многим возможность поехать, но люди записались в другие семинары. Мне было стыдно. Но странно

записываться к нему в семинар, а не воспользоваться возможностью послушать других руководителей. Может быть, надо было предупредить — выйти из этой ситуации с большей этичностью. Ценно — он не стал говорить: в следующий раз не даст нам эту возможность; нет, он дал её и в следующий раз.

Л. М.: Какие у него были любимые поэты?

Б. К.: Я не думаю, что я был любимым поэтом. Ему мои стихи были внутренне не близки. Но он видел большее — талант. Люди, которые его окружали, были эстетически разными. Нельзя сказать: его ученики старшего поколения — Искренко, Паршиков, Бунимович, тот же Жданов — люди одного фланга. Они все эстетически разнообразны. С одной стороны, он приветствовал меня, с другой — Нину Краснову, но между нами — ничего общего. Но он и приглашал, и выдвигал, и писал о нас. И с третьей стороны — например, Мария Малиновская, о которой он написал в «Литературную газету». У него было свойство: он верил в талант, и эта вера оправдывалась. О педагоге и о культуртрегере многое говорит, когда он ставит на начинающего человека, а потом этот человек идёт по жизни и получает регалии. Тогда мы уверяемся не только в человеке, который состоялся, но и в его педагоге. Так произошло с Марией Малиновской, хотя она сильно изменила и поэтику, и круг литературных привязанностей.

Л. М.: Для педагога важно увидеть талант.



Б. К.: Не менее важно увидеть потенциал. В 2011 году он написал рецензию на мой второй сборник в газете «Книжное обозрение» и закончил её словами: «Борис Кутенков — уже здесь, в нашей литературе. И принесёт ей немалую пользу». Я вспоминаю эти его слова, и они подбадривают. Не столь важно, состоялся ты или нет, важно: слова поддержки двигают вперёд: это стимул, желание соответствовать авансу. Это серьёзная заявка была, непонятно было тогда: принесёт или не принесёт.

Л. М.: Вы знаете, есть такие пожилые поэты, которые на всякий случай хвалят. Какие бы ни принесли им стихи, они одобряют. Чтобы кого-то не растоптать.

Б. К.: Как поздний Бродский. Или Рейн.

Л. М.: Или Найман.

Б. К.: Найман — нет. Когда я принёс ему подборку (в том же 2011-м), он спросил: «Вам написать так, чтобы было приятно, или правду?» В человеке была настроенность, чтобы сказать неприятное. И написал соответствующим образом — но дело не в том, что это неприятно, а в том, что косно и глупо, вне зависимости от положительной или отрицательной оценки текстов.

Л. М.: А мне в этом видится деликатность. Стремление не задеть.

Б. К.: В любом случае, такое всепринятие, о котором Вы сказали, оно происходит не от благодушия, а от равнодушия. Оно было свойственно позднему Бродскому. Он писал пачками хвалебные отзывы, и многие признавались — он любил свою

поэзию, а не других. Эгоцентризм был свойствен Пастернаку: Ахматова обижалась, думая: он всю жизнь не читал её стихов, и она сама отделивалась от приходивших к ней молодых поэтов общими словами, что даже вошло в анекдоты.

Л. М.: Кто Вам нравится из его учеников?

Б. К.: Мне по-разному нравятся и Нина Искренко, и Евгений Бунимович, и Иван Жданов. Жданов ближе всех моей сегодняшней поэтике. Нину Искренко перечитал прошлой весной после биографической книги Нади Делаланд о ней, вышедшей в рамках Вашего проекта, — она способствует важным механизмам раскрепощения собственного творчества, но в целом, скорее, не моё. Евгений Бунимович — хотя он не вполне состоялся как поэт, у него есть интересные стихи. Я думаю, он, как и Ковальджи, — культуртрегер в широком смысле, интересный как человек, но, по-моему, он перестал заниматься собственными стихами.

Л. М.: У Бунимовича есть тексты, имеющие шансы перевесить не только всё остальное им написанное, но выделиться в ряду его поколения.

Б. К.: У Бунимовича есть отличные тексты, но тут важно ещё то, как человек себя ощущает.

Л. М.: Вы думаете, что после того, как Вы написали текст, Вы можете повлиять на его судьбу?

Б. К.: Конечно. Я могу его активно продвигать, а могу положить в стол.

Л. М.: Мы не знаем, что с этими стихами будет дальше. Стихи Нины

Искренко лежат неизданными, двенадцать томов, их только планируется издавать. Или в советское время было много писателей, издававшихся миллионными тиражами. Никого из них не осталось. А остались те, кто публиковался в самиздате крошечными тиражами или издавался на Западе. Если твоё высказывание не имеет художественного смысла, оно не останется в вечности.

Б. К.: Верно говорите, хотя мы с Вами немного о разном. В сборнике Ковальджи «Моя мозаика», вышедшем при его жизни, меня кольнула формулировка «заслуженно забытые поэты» — о забытых стихотворцах советских лет; я уже не помню, кого он им противопоставлял, — если не ошибаюсь, Евгения Винокурова.

Л. М.: Не знаю, какое у Вас ощущение, но у меня — когорта поэтов, недавно покинувших нас, начала рост своей значимости. У людей открываются глаза — на ту же Нину Искренко. Или Парщикова.

Б. К.: У Вас есть ощущение, что больше внимания стало к стихам Ковальджи в последние годы?

Л. М.: К личности. Люди оглянулись и поняли, что его нет.

Б. К.: У меня пока нет такого ощущения. Возможно, прошло слишком мало времени со дня его смерти.

Л. М.: Знаете ли Вы примеры, когда Ковальджи жёстко критиковал поэтов?

Б. К.: Жёстко — нет. Жёсткость ему не была свойственна, была свойственна твёрдость. Мы с Вами встретились на семинаре в декабре 2009 года, а до этого, в марте, был пер-



вый семинар, на который я к нему пришёл. Я придирчиво разбирал тексты. Литинститутская школа. На семинаре, где я учился, было принято обсуждать рифму как внеконтекстуально обусловленный элемент стихотворения: выхватывать вещи из контекста и оценивать рифму как плохую или хорошую. Я с удивлением узнал: для Ковальджи это неприемлемо, здоровое понимание рифмы я получил от него. И когда я стал выхватывать рифмы из контекста, он обратил критику на меня. Он сказал: «Не бывает красивой женщины, у которой были бы некрасивые уши». С тех пор эта фраза всегда со мной — как структурное, обусловленное понимание всех элементов стихотворения; потом я прочитал Лотмана, Гаспарова и иже с ними.

Л. М.: Удивительно, что в Литинституте могли так относиться к стихам.

Б. К.: Вы знаете, в применении к слабым текстам это может быть небесполезно: видно — автор скверно рифмует, и нужно указать ему на это. Важно почувствовать уровень

различения. Ковальджи почувствовал — у меня этого различения нет, я мог придирается к рифмам и применительно к слабому тексту, и применительно к сильному. Он привёл в пример Блока, Георгия Иванова, «пьяные» неточные рифмы Есенина, — и всё это переворачивало сознание. И трудно уживалось с тем, как мне говорили о рифме два или три года до того на литинститутском семинаре. Но жёсткость не была ему свойственна. Была свойственна примирительность. Это тоже общее место для мудрого педагога — когда весь семинар гнобит, ты обязан защитить, найти хорошее, даже если в целом тебе не нравится то, что обсуждают. Такое умение присутствует и у Игоря Олеговича Шайтанова — оно проявилось, когда меня жёстко раздалбывали на семинаре «Вопросов литературы», — и у Игоря Леонидовича Волгина. Эти педагогические принципы не акцентированы, нигде они не записаны, но мной они понимались и учитывались шестым чувством, и проявлялись, когда я вёл семинары. Кажется, у Евтушенко есть строки: когда сотня кого-то бьёт за дело, сто первым он не будет никогда. Ковальджи не был человеком, который стал бы бить кого-то в случае, если бы увидел, что его уже бьют. Не знаю о его политических взглядах — «Моя мозаика» показала его как разностороннего человека. Он интересовался космосом, наукой, ещё многим. Он был литературоцентричен, но не заиклен на литературе. Литература не заменяла ему жизнь — он любил жизнь.

Л. М.: Как Лола Звонарёва вела семинары?

Б. К.: Я не знаю, как бы я сейчас на это посмотрел, прошло уже больше десяти лет, но тогда это был для меня идеальный семинар. Они прекрасно существовали в тандеме, дополняли друг друга. Бывает, знаете, двое мастеров сидят рядом — и видно: это искусственный тандем. Ковальджи с Еленой Исаевой и Ковальджи с Лолой Звонарёвой прекрасно друг друга дополняли. В то же время нельзя сказать, что у одного было что-то, чего не было у другой. У обоих присутствовала мягкость, стремление поддерживать. Была общая уютная атмосфера, создаваемая доброжелательностью обоих мастеров. Звонарёва — мягкий, уютный человек; про Ковальджи нельзя сказать, что он уютный, — он мягкий, но с офицерской выправкой.

Л. М.: Как проходил декабрьский семинар 2009-го года?

Б. К.: Воспоминания уже уходят. Происходило долго — два или три дня. Помню, пришёл в пятницу утром, просидел всю пятницу — до пяти или шести часов, — и не хотелось уходить, а потом то же самое — в субботу. Обсуждения были короткими, но нельзя сказать — скомканными. Обсуждалось в день человек по десять; я не знаю, как другие это воспринимали, но я слушал всё с жадностью и интересом, активно участвовал. Наверное, мастера относились к этому по-другому — они вкладывали больше энергии и они старше по возрасту.

Л. М.: Совещание проходило в разных комнатах, шли разные группы — и приходилось выбирать, ты прозаик или ты поэт...

Б. К.: Это на всех семинарах. Впоследствии я участвовал и в критических семинарах на совещании молодых писателей — у Андрея Немзера — и был вольнослушателем на семинарах Ковальджи. С какого-то момента меня перестали брать как участника — мол, ты своё отпосещал, молодняк должен учиться. Хотя к моменту «отказа» мне было года двадцать три — я рано начал. Ковальджи обронил фразу: «Молодые быстро становятся мэтрами». Не могу отнести это к себе, но фраза предельно точна.

Л. М.: Кого помните из участников того семинара?

Б. К.: Андрея Егорова¹, Геннадия Чернецкого. Этот тандем меня невзлюбил. Звучала презрительность в их высказываниях. Возможно, с ними был кто-то третий, но они были в плотной связке: обменивались короткими, жёсткими репликами.

Л. М.: Смотрите: Вам удалось объединить людей, создать коалицию против себя.

Б. К. (смеётся): Это не против меня, а против текста, не будем переходить на личности. Но я уже знал: Ковальджи и Звонарёва хорошо ко мне относятся, отмечают мой талант. Не скрою: мне было обидно отношение некоторых коллег. В двадцать лет это ранимо воспринимается.

Л. М.: Но это чужие люди! И все решения Вами приняты к тому моменту, дорога выбрана.

Б. К.: Нет-нет, далеко не все решения приняты. Это была своеобразная развилка. Момент сложного душевного кризиса, выбора: между простотой и биографической проявленностью в стихах — и метареалистической поэтикой. На мартовском семинаре 2009 года Лола Уткировна Звонарёва произнесла ключевую фразу, которая многое определила в развитии моей поэтики: «Вы — поэт, который может писать и очень просто, и очень сложно». Мне нравились и нравятся стихи Геннадия Чернецкого. У меня нет такого: если кто-то меня ругает, я ругаю в ответ или демонстративно не замечаю. Эти стихи были опубликованы и в «Арионе» и понравились мне и на его страницах; спустя несколько лет Александр Переверзин попросил меня опубликовать Чернецкого на «Сетевой Словесности», я с удовольствием составил подборку и сделал это. Я надеюсь, это поддержало Геннадия: я знаю, у него сложная ситуация со здоровьем. Было бы интересно узнать, как он себя чувствует. Ещё была Лета Югай, с ней мы сразу сдружились, — невероятно светлый человек. В последние годы мы потеряли связь: иногда вижу её университетские исследования, часто интересные, а стихов давно не вижу. Возможно, что-то пропускаю. Я думаю, если говорить о тех учениках Ковальджи, кто успешно продолжил деятельность, то это Лета Югай. С анализом её подборки я испытывал затруднение — невозможно относиться к ней поверхностно, как я относился к другим, менее сильным

¹ Ушёл из жизни по своей воле в феврале 2021 года.

стихам; чувствовалось — нужен глубокий разбор поэтики, на который я не был способен, и Ковальджи произнёс (не без иронии) фразу, которую я запомнил: «Действительно, что можно сказать о хороших стихах, кроме того, что это хорошие стихи?» С этой фразой я иногда внутренне спорю — хотя понимаю, что он имел в виду. О хороших стихах много чего можно сказать — но не в рамках семинара, где иногда важна поверхностная оценка, ободрение со стороны мастера и коллег, простое «ты можешь».

Л. М.: Лета недавно участвовала в нашем фестивале «Искренковские чтения-2021». На семинар Ковальджи Лета пришла как готовый поэт.

Б. К.: А что касается негативного обсуждения — важно переварить критику и пойти дальше без обиды на этих людей. Хочется верить: со мной это произошло, и я давал поводы к негативному обсуждению. Непонимание умного человека отличается от непонимания дурака: первое бывает важно и интересно и влияет на творческое развитие. На том семинаре не было ни глупых, ни сверхважных высказываний, но в моей жизни они были. Умная отрицательная критика безусловно развивает.

Л. М.: Разве, если критик недогадливый, это не его проблема?

Б. К.: Я не согласен с определением «недогадливый»: бывает, он просто другой. Придерживается других ценностных установок, любит другие стихи. И честно и подробно объясняет, почему ему это не нравится. Я не против отрицательной

критики. Особенно когда автор на неё настроен, а если я прихожу на семинар, я должен быть морально на неё настроен. Когда приходишь на семинар, будут звучать отзывы разной компетентности. Шесть лет я веду «Полёт разборов», литературно-критический проект, и я столкнулся с образцами инфантильного поведения — автор предлагает своё участие в обсуждении, потом уходит обиженный: пошло что-то не так. В ведении этого проекта мне помогает педагогическая практика Ковальджи. Я не он — нет ни такого опыта, ни такой мудрости, но частные вещи в опыте ведения семинара вспоминаются, и что-то даже копируешь.

Л. М.: Давайте сейчас это скажем. Как вести семинар?

Б. К.: Как ведущий я не всегда могу повернуть ход обсуждения в положительную сторону. Если все критики настроены против автора — а бывало и такое, хоть и редко, — человек уходит если не обиженным, то расстроенным. Приходится проводить психологическую работу до обсуждения и спрашивать, готов ли человек к отрицательной критике. Предупреждаю обо всех нюансах, о непредсказуемости обсуждения — неумный человек может высказаться из зала. После того, как я проведу эту подготовительную работу (если заранее не уверен в реакции человека, которого приглашаю), автор участвует в семинаре. Не хочется, чтобы человек психанул и убежал в середине обсуждения. Такие случаи редко, но бывали. В практике любого



человека, долго ведущего семинары, такое случалось.

Л. М.: Неужели такое бывало? Ужасно страшно...

Б. К.: Это не самое страшное. Хуже, если человек начинает осознанно создавать негативную репутацию «Полёту разборов», пишет в «Фейсбуке» в грубых выражениях, там начинается поддержка по принципу: «Ты крутой, тебя критиковали ничтожные люди, не обращай внимания на всех этих придурков». Он начинает распространяться — не ходите туда, — перевирая подробности собственного обсуждения или вынимая из него то, что ему нужно для плохой репутации проекта (да-да, сила чёрного пиара действует, но я не хотел чёрного пиара). Если человек уходит молча — это говорит о его чувстве собственного достоинства.

Л. М.: Первый принцип — предупредить участвующих поэтов об отрицательной критике; второй — не выносить сор из избы. Так получается?

Б. К.: Нет, последнее не обязательно. Ты не можешь запретить человеку написать в «Фейсбуке» о

впечатлениях. И я не помню, чтобы кто-то из мастеров так делал. А сейчас обсуждения перешли в Zoom и стали более открытыми — думаю, и впоследствии мы не откажемся от прямой трансляции. Но человек может написать и положительный пост о впечатлениях, и таких больше: люди радуются — их обсудили на «Полёте разборов». К Вашему вопросу, как вести семинар: уравнивать положительные и отрицательные точки зрения. Человек, присутствующий на обсуждении, всегда в позиции уязвимого. Нужно сказать что-то юмористическое, что-то тёплое, как-то поддержать человека. Нужно дать понять: он не один среди негативно настроенных людей, — если они негативно настроены. Хотя на «Полёте» такого нет: я научился с годами — поэтики соответствуют уровню обсуждений, и те, и другие чаще всего достойные. На «Полёте разборов» есть правило — я выработал: с одной стороны, не приглашать совсем состоявшихся поэтов (за редкими исключениями), с другой — не приглашать графоманов. Состоявшийся поэт пренебрежительно или равнодушно отреагирует на критику, а в случае с безнадёжным автором обсуждение может выродиться в учебный семинар и приобрести негативный характер. Если же в первом случае возникнет перекося в учебную сторону, это этически неправомерно; во втором же случае может создать негативную репутацию семинара. Такого баланса стараюсь придерживаться. Опыт — сын ошибок трудных. Первоначально

«Полёты разборов» были не такими: возникала конфликтная среда, но мне не хотелось этого хайпа. Хайп означает популярность проекта; умное «университетское» обсуждение, оно не выносится волной комментариев в «Фейсбук», такого хайпа не создаёт, — автор доволен, критики счастливы, но эти счастье и довольство остаются в нашем кругу. И я сделал выбор в сторону последнего. И утратилась... не то что обратная связь, проект востребован, люди подают заявки. Но такого, как в 2015 году, когда комментаторы писали: «Вся лента во вчерашнем «Полёте разборов», — такого нет. Ну, и слава Богу, что больше нет. Конфликт на «Полёте разборов» для меня — просчёт как для организатора: я его не провоцирую и не всегда могу предостеречь, но тем не менее.

Л. М.: Я бы совершенно не вынесла таких отношений.

Б. К.: А что бы Вы сделали? Прекратили вести семинар?

Л. М.: Если я попадаю в такие отношения, где нет личных границ, где люди их переступают, — я не задерживаюсь в таких компаниях.

Б. К.: Это если Вы не создали компанию. Если же её создали — Вы можете подумать, как сделать так, чтобы в этой компании были другие люди. Но в любом случае — не прекращать проект. Некоторые критики, не выдержавшие планки обсуждения, не участвуют в «Полёте разборов»: это не обязательно связано с неумностью или плохим воспитанием — критик не вписывается в формат мероприятия. Он

с блеском выступает в журнальных статьях или эссеистике, а на устном обсуждении проваливается. Не его это жанр. Или оказывается — он со времени написания статей утратил ощущение реальности в литературе. Или был случай, когда я пригласил замечательного прозаика и критика прозы: не буду называть. Я поддался волне безумной талантливости и общей приятности человека. И оказывается: он ни бельмеса не понимает в стихах. И самоуверенно говорит о них. Это профессиональный позор. Участие такого человека в твоём проекте становится единственным, но ты можешь сотрудничать с ним в других жанрах, и внимательнее приглядишься, кого приглашаешь. Элементарный закон — несколько раз подумать, взвесить, почитать высказывания. И медленными шажками выравнивается среда и приходит к здоровой форме. Создание собственных проектов — способ дистанцирования от литсреды с её мелким эгоизмом. Я остро почувствовал: не вписываюсь, и начал делать своё. Но совсем дистанцироваться нельзя, иначе ты потеряешь ориентиры, установки, — такие случаи мы наблюдаем: можно задействовать нужные кадры, а с другими (с кем не получается сотрудничать в рамках твоих проектов) взаимодействовать на одностороннем уровне.

Л. М.: Скажите, а Вам не кажется странным такое явление, как коллективный разбор стихов? Почему бы не разобрать их в индивидуальном порядке?

Б. К.: Я разбираю их и в индивидуальном порядке. Любой автор может обратиться ко мне через страницу на сайте Pechorin.net, до этого была и страница на сайте «Книжная экспертиза» Creative Writing School. Можно и написать в личку. Индивидуальное обсуждение психологически проще — в том числе и мне. Я больше люблю писать рецензии напрямую авторам, чем журнальную критику, ты понимаешь, на кого твоя критика направлена, есть целевой адресат. Статью ты нередко пишешь с неохотой, с чувством утомления, с ощущением — мало кто её прочтает. Интервью или «внутренняя» рецензия адекватнее.

Л. М.: А что влечёт людей на обсуждения?

Б. К.: Разное. Многие, в том числе и любимые мной поэты, отказываются от участия в «Полёте разборов» в силу интровертности. Им неудобно сидеть на обсуждении и слушать критику. Я отказался от публичных разборов собственных стихов — я могу держать лицо, но не могу скрыть эмоции. Много наслушался глупостей. Часто вспоминаю строки Кушнера: «всё знание о поэзии в руках пяти-шести», но и не могу не понимать — моя поэтика герметичная, не располагает к немедленному принятию. Но было исключение — на декабрьском семинаре Людмилы Вязмитиновой. Я шёл с неохотой, с ощущением, что будет как всегда, — и оказалось по-другому, я вышел счастливым и довольным. Было немного народу и, может, из-за немно-

гочисленности создавалась адекватная, профессиональная атмосфера. И, конечно, из-за вдумчивого прочтения текстов. А что касается Вашего вопроса — иногда влечёт жажда пиара. Публичное обсуждение, — на которое заранее собирается народ, тебя читают эксперты, приходят сторонние зрители, идут рассылки по многим каналам — это реклама. Если человек психологически готов к публичному обсуждению, он стремится на него. Некоторым людям эта рекламная сторона важнее, чем направленность обсуждения. Я помню, одна из поэтесс, которую я пригласил, сидела с блаженным видом: я понимал: она наслаждается всем, что о ней говорят. Самим фактом — говорят о ней. И хоть плюю в глаза. Люди изголодались по вниманию, его сейчас остро не хватает многим. Есть такие ситуации, как в анекдоте про моль, её хотят убить, а она думает: ей восторженно аплодируют, и рассказывает, как она прекрасно провела вечер в присутствии зрителей.

Л. М.: Вернёмся к Кириллу Владимировичу. Как складывались отношения с Ковальджи в конце жизни?

Б. К.: В какой-то момент он деликатно попросил меня не приглашать его к участию в моих проектах. Написал: благодарен, но экономит силы на самое важное. Видимо, он чувствовал скорый уход. Я внял просьбе. Мне хотелось пригласить его критиком на «Полёт разборов», но я помнил эту просьбу. Звонил ему, если не ошибаюсь, осенью

2016-го, сказал тёплые слова — его голос был слаб. А весной 2017-го его не стало.

Л. М.: Для Вас его уход — страдание? Утрата?

Б. К.: И страдание, и утрата. Меньшая утрата, чем если бы погиб молодой человек. Ощущение утраты сопряжено с пониманием — человек прожил долгую жизнь, он ушёл в пору заката. Он останется в памяти современников. Ты готовился к этому, понимал, это случится если не завтра, то послезавтра. Помню, как я узнал об этом: я был в Вологде, мы гуляли с поэтессой Марией Марковой. Мне позвонил Владимир Коркунов и сказал — умер Ковальджи. Я работал редактором в журнале «Литература» — у меня восприятие этой новости перешло в редакторский формат. Можно плакать, распускать нюни, а можно подумать, что сделать для памяти. Последнее более конструктивно. И я попросил Вову провести опрос в честь его памяти — и он мгновенно, с колёс, стал проводить опрос, где разные литераторы вспоминали, чем для них важен был Ковальджи. Мы опубликовали замечательную статью Елены Шубаевой-Петросян о его стихах. Будет материал в «Учительской газете» — жаль, что он не состоялся в прошлом году, к его 90-летию юбилею. Есть

чувство выполненного долга, когда что-то делаешь для памяти учителя. Предлагаю завершить его стихами, мы мало сказали о нём как о поэте. Часто вспоминаю ёмкое четверостишие 2007 года: «Сколько надо таланта и дури, // чтоб, мечтая о личном венце, // посвятить себя литературе // не в начале её, а в конце...». И ещё — особенно концовка этого стихотворения, которая близка мне мировоззренчески: «Суждено горячо и прощально // повторять заклинаньем одно: // нет, несбыточно, нереально, // невозможно, исключено... // Этих детских колен оголённость, // лёд весенний и запах цветка... // Недозволенная влюблённость — // наваждение, астма, тоска. // То ль судьба на меня ополчается, // то ли нету ничьей вины: // если в жизни не получается — // хоть стихи получаться должны. // Комом в горле слова, что не сказаны, // но зато не заказаны сны: // если руки накрепко связаны — // значит, крылья пробиться должны».

Л. М.: «Смотрю: по-прежнему в небесной сини // всё те же журавли. // При мне построили гостиницу «Россия», // при мне снесли...» И другое: «Когда душе уже за сорок с лишним лет, // не так легко её пронзает новый свет. // Зато, когда вокруг смеркается, смотри: // она напоена свеченьем изнутри». 1975 год...